

ПРЕТЕНДЕНТ НА БЕСТСЕЛЛЕР!

А Л Е К С Е Й

.....

..... **МАКУШИНСКИЙ**

А Л Е К С Е Й

МАКУШИНСКИЙ

ФИНАЛИСТ ПРЕМИИ «БОЛЬШАЯ КНИГА»!



ПАРОХОД В АРГЕНТИНУ

Р О М А Н



ЭКСМО
МОСКВА
2014

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
М 17

Оформление серии *Петра Петрова*

Издательство выражает благодарность
Евгении Воробьевой за помощь в приобретении прав

Макушинский, Алексей.

М 17 Пароход в Аргентину : роман / Алексей Макушинский. — Москва : Эксмо, 2014. — 320 с. — (Претендент на бестселлер! Алексей Макушинский).

ISBN 978-5-699-75667-4

Действие романа разворачивается в конце XX века в Европе: главный герой путешествует во Францию, чтобы встретиться со всемирно известным архитектором Александром Воско — другом легендарных Миса ван дер Роэ и Жана Балладюра. Воско олицетворяет собой ушедшую в прошлое Россию, величавую и гордую, оказавшуюся в эмиграции. После падения монархии на одной шестой части Земли возникло «царство дракона». Но все ли уехавшие были правы и правы ли оставшиеся в нем?

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-75667-4

© Макушинский А., 2014
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2014

ГЛАВА 1

*O welcome, Messenger! O welcome, Friend!
A captive greets thee, coming from a house
Of bondage, from yon City walls set free,
A prison where he hath been long immured.*

WORDSWORTH¹

5

ПАРОХОД В АРГЕНТИНУ

Когда советская власть, к несказанному нашему изумлению, начала колебаться и внезапные дыры обнаружились в проржавевшем железном занавесе, я отправился в свое первое заграничное путешествие осенью 1988 года, сначала поездом до Парижа, где прожил месяц, оттуда — на попутной машине во Фрейбург, затем в Констанц, в Мюнхен, обратно в Констанц, из Констанца — и снова на попутной машине — в Дюссельдорф, из Дюссельдорфа, наконец, в Кёльн, где снова сел в поезд, возвративший меня в Москву. Этот второй поезд я помню смутно, зато первый поезд, поезд туда, в неведомые земли, в свободный мир, запомнился мне на всю, наверное, жизнь... Хотя кто может поручиться, что не

¹ *Здравствуй, вестник! Здравствуй, друг! Пленник, вышедший на волю из тюрьмы, из-за стен вон того города, где так долго он был заточен, приветствует тебя. Вордсворт. (Здесь и далее — перевод автора.)*

потеряет со временем свои самые лучшие, самые яркие воспоминания? Однажды записанные, они получают все же чуть больше шансов не погибнуть под завалами того забвения, которое, как песок, заметает любую жизнь, мою в том числе. Пустыня растет, *die Wüste wächst*, писал Ницше... Из трех человек, провожавших меня на Белорусском вокзале, двоих уже нет на земле. Мы стояли все четверо на, или так мне помнится, залитой золотым осенним светом, хотя и, конечно, запыленной, в бумажках и окурках платформе, причем я, уезжавший, хотя еще и не навсегда, но все же так, как если бы этот еще предварительный и в известном смысле случайный отъезд уже намекал на какое-то другое, окончательное, непоправимое расставание, стоял уже словно сам по себе, лицом ко всем остальным, уже отделенный от них невидимой, но отчетливой чертою — что тут же и было отмечено ироничнейшим и, наверное, проницательнейшим из участников процедуры, — и затем вскочил в поезд с той беспечной легкостью, которую мы так охотно напускаем на себя в молодости, подчеркивая нашу готовность к приключениям и авантюрам, мнимые будущим, отбрасывая прошедшее, расставаясь легко, уезжая в синюю даль. Жизнь, скажем просто, лишь понемногу и постепенно превращается из обещания в сожаление.

Был, разумеется, проводник в этом поезде, еще тот советский проводник международного вагона, тот профессионально безликий проводник, иными словами, в котором весь опыт подневольной жизни приучил нас видеть агента охраны, почему и полагалось его задабривать возможно более щедрым *начаем* — он же и в самом деле не скупясь снабжал

всех желающих в течение всего пути классическим железнодорожным чаем в стакане с подстаканником и двумя плоскими кусками сахара с кремлевскими башнями на обертке — неизменный атрибут русского путешествия, одна из уютнейших вещей на земле; вот под предлогом оплаты этого самого, еще не заваренного, не выпитого чая и следовало дать ему рублей десять, а то и все двадцать пять (*всучить четвертной*, говоря языком эпохи), каковая простейшая форма подкупа судьбы и *гевни* имела, Впрочем, больше смысла, если вообще имела его, по дороге обратно, когда в чемодане у просвещенного путешественника могли оказаться драгоценные ИМКА-прессовские или ардисовские издания, трехтомник Мандельштама, «Вехи», Бердяев, Замятин; подкупленный же тобой проводник указывал, как считалось, пограничникам и таможенникам в Бресте не на твое купе, а, например, на соседнее, чтобы они его, значит, *шмонали*. В 1988 году пограничников и таможенников уже интересовали, впрочем, лишь материальные ценности, магнитофоны и синтезаторы, на книги почти уже и не смотрели они (в духовном смысле, следовательно, опережая эпоху, перескочив через перестройку напрямик в девяностые годы). Но и по дороге туда хотелось все-таки избежать *шмона*, от которого врученный (*всученный*) проводнику *четвертной* меня и в самом деле избавил, так что, переждав в Бресте бесконечную смену колес, — поднятый с русских рельсов вагон, я помню, все висел и висел в воздухе, в ничейном и абстрактном пространстве, прежде чем опуститься на европейские, — я уже спокойно мог, точнее, мог бы, ехать по скучной и плоской

Польше, целый долгий день, не обошедшийся, увы, без скандалчика, принесший новые волнения, другие волнения. Не знаю, существуют ли до сих пор такие вагоны и такие купе; в ту, теперь уже историческую, эпоху международные вагоны, почти незнакомые простым советским гражданам, были ниже обычных и состояли из узеньких отсеков с двумя полками — одна над другой — и креслом у противоположной стены; рядом с креслом была дверь в пропахшую дешевым мылом умывальную комнатку, которую обитатели одного купе делили с обитателями другого, и как не вспомнить тут рассказ Бунина, в котором героиня, в волшебном каком-нибудь одиннадцатом году уезжающая с любовником за границу, переходит из одного купе в другое через вот такую же комнатку (в Совдепии, как это ни странно, ни грустно, еще сохранялись какие-то последние, драгоценные отзвуки прошлого, тут же и окончательно отзвучавшие, как только Совдепия рухнула). Героиню, как мы помним, другой любовник, австрийский писатель, застрелил потом в Вене... Купе были первого и второго класса, причем первый превращался во второй, если к двум пассажирам прибавлялся третий, спавший на откидной полке, днем прикрепленной к стене между полками верхней и нижней, на ночь откидывавшейся и повисавшей на подозрительно потрепанных, засаленных холщовых ремнях; три пассажира спали, следовательно, друг над другом, как, наверное, спят в трюме океанского какого-нибудь парохода (плывущего, например, в Аргентину...) самые бедные, бесправные пассажиры. Разница в цене между первым и вторым классом была, кстати, довольно

ничтожной. Совершались, однако, какие-то смутные перемещения и перестановки; кто-то почему-то переходил из купе в купе, из вагона в вагон; что-то явно выдумывали, к собственной выгоде, как это вообще им свойственно, проводники. Я ехал сначала не помню с кем, затем почему-то один, затем, уже в Польше, в купе оказался немолодой, бородатый, высокий и важный, взмыленный и наглый грузинский художник, которого я уже и до того видел перетаскивающим из вагона в вагон свои огромные, запакованные в серо-желтую бумагу и грязной бечевкой перевязанные картины, чемоданы, баулы, коробки, с помощью другого, тоже бородатого и по виду тоже художника, но ростом и рангом пониже, да и бородою пожиже, и в сопровождении хорошенькой французской жены с нетихим младенцем, парафразируя Баратынского, на руках.

— А, это вы с нами едете? — спросил художник, воззрившись на меня с таким видом, словно его в высшей, самой высшей, он даже не может сказать, сколь высокой степени, удивляет присутствие здесь какого-то очкарика с французской книжкой в руках.

— Скорее вы со мной, — сказал я, отрываясь от Шатобриана.

Запахло, в самом деле, скандальчиком. Пропущая в купе всю свою свиту со всеми баулами, всеми картонками, коробками и картинами — уезжали они, видимо, навсегда, — художник потребовал опустить откидную третью полку, чтобы на нее, значит, все это и поставить; я заметил, что мы не в теплушке и что вообще-то я заплатил за первый класс. Запах скандальчика делался все сильнее.

«В Гражданскую войну и не так ездили, *потерпишь*», — ответил художник.

Довольно опрометчиво возразил я, что Гражданская война, по моим сведениям, закончилась и что мы с ним не переходили на «ты». Вмешалась француженка. Лак цивилизации (*de la civilisation*) удивительно легко слезает с представителей (представительниц) просвещеннейшей нации, когда что-нибудь им не по ребру. Четвертной, накануне врученный и всученный безлико-угодливому проводнику, возымел свое действие; переселившись с его помощью в другое купе, где чудесным образом обнаружилось свободное место, вполне приятно провел я остаток дня в разговорах с довольно даже хорошенькой, в кудряшках, веснушках, хотя и насквозь прокуренной, с желтыми страшноватыми пальцами, молодой женщиной (ее пальцы были старше ее самой лет на тридцать...), работавшей, как выяснилось, монтажером на киностудии «Мосфильм», где я и сам когда-то проработал полгода помощником режиссера («хлопушкой») — один из безумнейших и, пожалуй, бессмысленнейших эпизодов моей, как, наверное, и всякая другая, безумной и бессмысленной молодости, — так что нам и в самом деле было о чем, о ком поговорить (посплетничать) с ней, сидя в купе, с проплывавшей за окном плоской Польшей или выходя курить в тамбур, где затхло пахло всеми выкуренными в нем сигаретами, всеми погашенными, раздавленными, в особенное ведерко брошенными окурками, и плоская Польша проплывала в грязно-сумеречном, закопченном окошке, — тамбур, в который моя попутчица благородно удалилась без меня, поздно вечером, после того, как мы пересекли отвратительную польско-гэдээ-

ровскую границу — Paßkontrolle! и фонарем прямо в морду, — проехали невнятную восточную окраину страны реального социализма, обреченного вскоре погибнуть, проехали страшный, темный, как будто брошенный всеми, и людьми, и даже призраками, Восточный Берлин, после очередного Paßkontrolle въехали наконец в сияющий всеми огнями свободы Берлин Западный, и за окном на платформе обнаружился мой старинный приятель Манфред Л. с бутылкой шампанского «Мумм» в левой и двумя — крест-накрест — тонконогими бокалами в правой руке, каковое шампанское мы с ним и выпили на коротком перегоне между станциями Berlin-Zoo и Berlin-Wannsee, где, перед новым впадением поезда в темноту Гэдээрии, он сошел, я же еще минут пять — поезд почему-то не отправлялся — наблюдал из окна, как объясняется он с неизвестно откуда возникшим на совершенно пустой платформе железнодорожным чиновником, почему-то пожелавшим у него проверить билет. Манфред, тогда еще молодой, в потертой кожаной курточке и смешнейших желтых штанах, одной рукой, со все теми же и так же скрещенными бокалами в ней, маша мне, другой свободной рукою все показывал чиновнику, что он билет уже выкинул, точнее — как он выкинул этот билет, вполне, конечно, гипотетический: через плечо, лихим и быстрым взмахом покрасневшей на вечернем ветру руки, с марионеточной быстротой вновь и вновь вылезавшей из короткого, съезжавшего вниз рукава его кожаной курточки; когда поезд наконец тронулся, Манфред все стоял и махал, одной рукой мне, влево-вправо, другой через плечо для чиновника, явно ему не верившего, но упорно шарившего глазами по платформе, в на-

дежде, может быть, все-таки обнаружить там этот билет, давно и навсегда унесенный железнодорожным ветром воображения.

Наутро в окне был уже Кёльнский собор; затем пошла Бельгия, в золотом и багряном полыхании осени показавшаяся мне такой прекрасной, какой никогда уже впоследствии не казалась, и поезд тихо, уже никуда не спеша, не раскачиваясь, окончательно распростившись с русской манерой постукивать на стыках рельсов, плыл вдоль каких-то каналов, или вдоль Мааса, уже не помню, с полыхавшими на солнце кирпичными домиками на другом берегу, и на каких-то станциях, где на мгновение мы останавливались, веселые железнодорожные рабочие, все как один сидевшие на скамейках, явно бездельничавшие, или курившие, или поедавшие свои бутерброды, вынимая их из фольги, тоже и в свою очередь поблескивавшей на солнце, кричали стоявшим у вагонных дверей, после въезда в свободный мир тоже как будто подобревшим проводникам *ça va? ça va?* — как дела, мол? — и проводники, переглядываясь друг с другом, добродушно-презрительно указывая друг другу на дураков-иностранцев, кричали в ответ: *сова, сова, филин, филин...* такое удовольствие получая от собственного нехитрого юмора, что один из кричавших оттуда, с той стороны невидимого, уже дырявого, но еще очень железного занавеса, тоже, в конце концов, стал кричать в ответ что-то вроде: *philine, philine...* полагая, по-видимому, что это по-русски значит: *привет*, или *пока*, или, быть может, *пошел ты...* и менее всего думая, конечно, о незабвенной Филине из «Годов учения», о которой я, невольный свидетель всей сцены, уже не мог не думать в продолжение пути,

не только потому, разумеется, что считал в ту пору «Годы учения» самым главным европейским романом и перечитывал постоянно, но прежде всего потому, что и сам еще, в свои тогдашние двадцать восемь лет, на исходе юности, чувствовал себя — не подозревая, что очень скоро перестану себя так чувствовать, — героем «романа воспитания», Вильгельмом Мейстером, отправляющимся в путешествие, на поиски приключений и себя самого, готовым к встрече с любой Филиной, Миньоной, Наталией, с арфистом, Лаэртом и Ярно, участником большого осмысленного движения, в котором все диссонансы, так скажем, обязательно разрешатся когда-нибудь — уже скоро! — всеохватывающей, всеоправдывающей гармонией, и поскольку вагон наш, прицепляемый все к новым и другим поездам, оказался последним, долго, я помню, стоял в заднем тамбуре, глядя на убегавшие, пропадавшие, как бы падавшие куда-то за нами и по-прежнему залитые солнцем холмы, величественно полыхающие леса, сказочный замок и еще один, не менее сказочный, и впоследствии, вернувшись из путешествия, так часто воображал себе, что было бы, если бы я — или *кто-нибудь* — сбежал и выпрыгнул, к примеру, из поезда, или просто сошел на станции посреди этого мифологического ландшафта этой кем-то придуманной Бельгии (начало *авантюры*, в средневековом и рыцарском смысле; герой, пускающийся на поиски себя и Грааля...), так часто воображал себе все это, что в конце концов, года, наверное, через два, увидел все это во сне, в одном из тех ярчайших, важнейших снов, каких нам немного отпускается за жизнь, каких в моей жизни было, может быть, только два или три, и в этом сне, когда я пытал-

ся открыть заднюю дверь, за которой все так же уносились и уносились в небытие мифологические холмы, возник у меня из-за спины проводник, оставшийся во сне таким же безликим, каким был наяву, и вежливо, вкрадчиво попросил меня дверь не трогать, открыть ее у меня все равно не получится, а главное — он, проводник, обязался и, значит, непременно должен довезти меня до, почему-то сказал он, Лютеции, в которую я к тому же и сам ведь хочу попасть, и правильно делаю: Лютеция, сказал проводник моего сна, окончательно переходя на латынь, — величайший и прекраснейший на земле город, *Lutetia Parisiorum*, сказал и повторил проводник, *urbs grandissima atque pulcherrima est*.

ГЛАВА 2

*I have come to the borders of sleep,
The unfathomable deep
Forest where all must lose
Their way, however straight
Or winding, soon or late;
They cannot choose.*

EDWARD THOMAS¹

Я познакомился с Вивианой на третий или четвертый день моего пребывания в Лютеции; мне кажется, мы с первого взгляда не понравились друг

¹ Я подошел к границам сна, к границам непостижимо глубокого леса, где все рано или поздно обречены заблудиться, каким бы ни был их путь, прямым или извилистым; у них нет выбора. Эдвард Томас.

другу. М., мой бесконечно дальний родственник, внук сбежавшего в свое время от большевиков двоюродного брата моей бабушки, свел меня с неким Пьер-Полем, а Пьер-Поль — уже с Вивианой; все они занимались, смешно сказать, комиксами, с комической, в самом деле, серьезностью относясь к занятию своему. Пьер-Поль, с которым в день знакомства моего с Вивианой сидели мы в относительно, по парижским меркам, дешевой, шумной и проходной пиццерии на углу, если память меня не подводит, площади Сен-Мишель и набережной des Grands-Augustins, был маленький быстрый бретонец, всегда готовый к отпору, к сарказму, весь жилистый, мускулистый, с красивыми движениями худых узловатых рук; рисовал он своих суперменов, угловатых уродцев и ресницехлопающих красавиц так же быстро, зло, иногда не без блеска; из разговора с ним, из разговоров с другими понял я, что мир комиксов, по-французски называемых рисованной лентой, *bande dessinée*, или, в сокращении, BD — страсть к снобистским аббревиатурам владела Парижем в ту пору, — что этот дотоле совершенно незнакомый мне мир, поближе познакомиться с коим я, следует признать, не особенно и стремился, что мир этот имеет своих героев, своих гениев, своих святых, подвижников и предателей, своего Шекспира, своего Данте, своего Рафаэля, свои неподражаемые американские образцы и убогие европейские копии, свой авангард и своих консерваторов, своих бунтарей, своих главарей. О каком-то Луиджи с итальянской фамилией говорили они так, словно это был не Луиджи, а Леонардо, и рисовал он не супермена с бэтменом, а Джоконду и Тайную вечерю; все они, и этот итальянец, с которым я